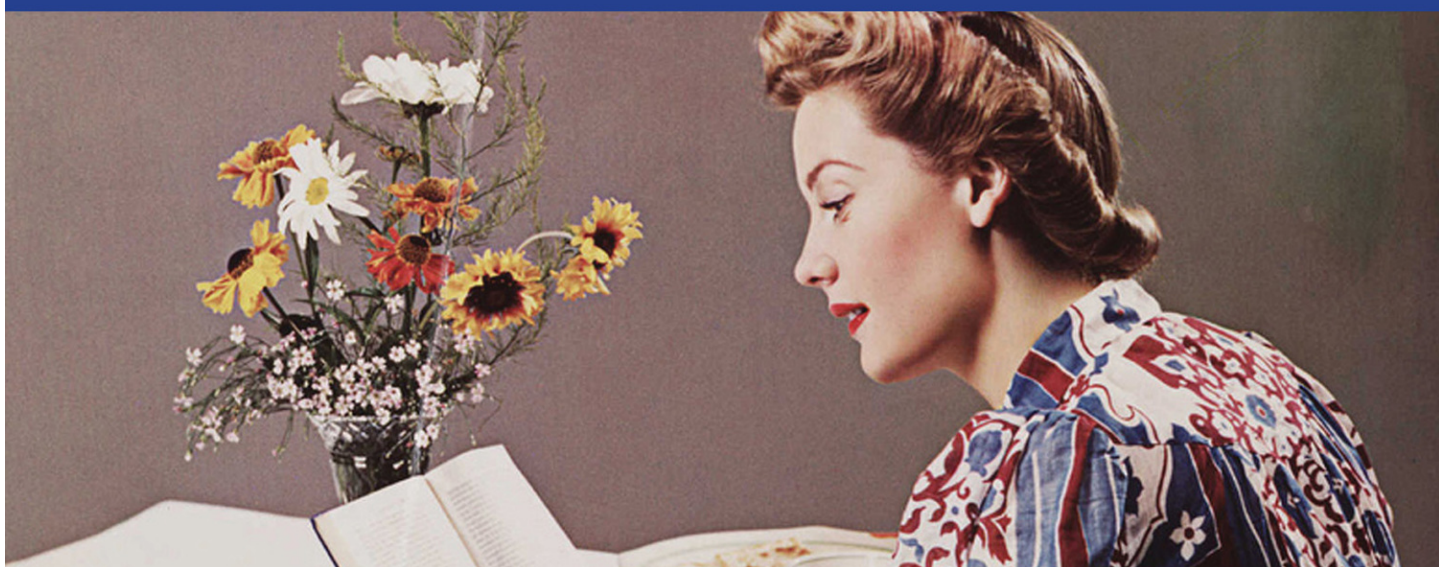


Галина Щербакова

В поисках
окончательного мужчины
(сборник)

ФТМ



Галина Щербакова

**В поисках окончательного
мужчины (сборник)**

«ФТМ»

2009

Щербакова Г. Н.

В поисках окончательного мужчины (сборник) /
Г. Н. Щербакова — «ФТМ», 2009

Почему-то принято считать, что донжуанство – удел одних лишь мужчин. Соблазнять и добиваться, добиваясь – остывать и слышать, как внутри роет свой ход червь пресыщения. Уходить, разрушать чужую жизнь и ни за что не нести ответственности, потому что любовь не знает ни законов, ни морали. Донжуаны Галины Щербаковой – женщины. Это они охотятся за мужчинами, выходят «пасть на луга», убегая от раз и навсегда расписанного порядка жизни. Тем более – в России, тем более – в пору ранней перестройки. Это они разменивают квартиры и опрокидывают с ног на голову представление о первенстве молодости в амурных делах. Но что стоит за этой «свободой»? Изнасилование в подростковом возрасте, ущерб коммунального жилья с больными стариками-родителями, которых не возьмет ни одна больница, невозможность победить Систему, которая даже сына-инвалида готова послать в армию... Свобода оборачивается местью за несчастливое прошлое, но прошлое нельзя изменить. И цена покоя – только прощение. В новый сборник прозы Галины Щербаковой вошли два романа – «В поисках окончательного мужчины» (ранее выходил под названием «Армия любовников») и «У ног лежащих женщин».

© Щербакова Г. Н., 2009

© ФТМ, 2009

Содержание

В поисках окончательного мужчины	5
I	5
Федор	11
Семен Евсеич	16
Федор	18
Конец ознакомительного фрагмента.	20

Галина Щербакова

В поисках окончательного мужчины

I

С некоторых пор я жду телефонного звонка. Ожидание почему-то всегда настигает меня у раковины, когда я выковыриваю чайники из стока, невероятно раздражающие мужа. Я никогда не достигну совершенства очищения системы стоков, но именно в момент стремления к нему я остро хочу, чтоб она мне позвонила.

Хочу услышать ее голос, в котором так рядышком живут нахрапец и насмешка над ним же. Сначала она спросит, звонит ли Шурик. На этом меня легко подзавести: Шурик не звонит. Те заграничные деньги, на которые он живет далеко-далече, дороже наших. Я это понимаю, что не мешает мне обижаться.

Тут, глядя одним глазом «Санта-Барбару», я вдруг обнаружила: такого понятия, как *оби- деться*, у тамошних героев как бы и нет. Они обходятся без него легко и просто, как мы без личных адвокатов. Может, острое чувство обиды и есть наша защита, когда никакой другой нет. Впрочем, я ведь не о том. Я о том, какой первый вопрос она мне задаст, если позвонит. Десять лет назад она спрашивала, как «проявляется» молодая невестка и правда ли, что я ее так уж люблю или придуряюсь, чтоб выглядеть лучше других. У нее всегда вопросы с этой... подь...кой. Прости меня, Господи! Двадцать лет назад она спрашивала, какие у сына размеры... Первые джинсы ему привезла мне она. Венгерские за 80 рэ, для остальных за 120.

Теперь вот не звонит. «Слава Богу, – говорит муж, – что у тебя с ней общего?»

В эти минуты я его вижу насквозь, потому что знаю: он говорит так, чтоб потрафить мне.

На белом свете всего три человека, которые были озабочены этим – потрафлять мне. Дедушка, который считал, что я самая умная, бабушка – что я самая красивая, и муж, который всегда доказывает мне, что люди, огорчающие меня или не дай Бог меня ненавидящие, принадлежат к той породе, с которой порядочные рядом не стоят. Где я – где она.

На всю жизнь всего трое безоглядных, абсолютных моих защитников. Много это или мало?

У меня долго не было квартиры. Еще дольше – денег. Бывало, не было работы, удача приходила нервно спорадически, я теряла друзей и переставала любить близких.

– У вас очень сильная защита, – удивленно сказала мне одна экстрасенша, волею судеб оказавшаяся у меня дома.

Она, специалист по прочности газовых котлов, с интересом смотрит на меня, ожидая пояснений. Ей любопытна природа моей охраны. Но как я ей скажу? Как я скажу про слова дедушки и бабушки, которые живут до сих пор, никуда не делись, хотя их самих уже нет более тридцати лет.

Это я к тому, что понимаю логику мужа, который видит это мое напряженное ожидание звонка и по-своему пытается мне помочь.

Да, у меня с ней ничего общего, она – другая природа, у нее иначе течет кровь, иначе кудри вьются. Мы даже не подруги...

Мы больше, потому что я ее соглядатай. Подсмотрщик. Вампир-теоретик. Я прожила с ней то, чего мне не дано было по определению: «Бодливой корове Бог рогов не дает».

В сущности, она – это я. Только рогатая.

...Чужие жизни хорошо заключаются в сферу. Перебирая пальцами невыносимую легкость бытия чужой жизни, спрятанную в шаре, ее можно наблюдать со всем возможным бесстыдством. Ведь Гомер не таскал за Ахилла его щит, и Карамзин не шептал в ухо Эрасту, какая он сволочь. Сфера она и есть сфера. Ты тут, а они там. Лев Николаевич, сладострастник, носил при себе лупу, пряча ее от Софьи Андреевны в кармане исподней рубашки. Не было кармашков? А откуда вы знаете? Вы так же точно не знаете про это, как я знаю. Просто чувствую, как он подносит лупу к глазу, чтоб разглядеть коротенькую губку маленькой княгини. Он плачет от умиления и страдает, что она у него скоро умрет. С этим – увы! – уже ничего не поделаешь. Потому как блохой скачет эта глазастая девчонка Наташка, а Андрей еще женат. Жалко княгинюшку, но графинюшка – такая прелесть, а красавцы и умницы, как Болконский, даже на очень большой роман бывают в единственном числе. А тут еще война... И Пьер такой замечательный. Вот и плачет Лев Николаевич, приставив лупу к глазу и любуясь в последний раз коротенькой губешкой. Не жить ей, не жить...

Мне тоже хочется тихонечко мизинцем тронуть вспотевшую губку умирающей княгини. «Зачем ты так сделал? – скажу я старику с лупой. – Зачем ты их погубил всех, лучших?»

Но мне уже некогда. Я уже иду внутрь собственной истории, мне предстоит счастье мять и тискать свои персонажи, и больше всего достанется тем, кто попадется мне всего на раз.

Мне всегда жалко расставаться со случайными людьми, которые толкуются на обочинах сюжетов. Как, например, эта старушонка, что присела помочиться за огромным щитом рекламы, на котором Синди Кроуфорд смачно – из-з-з-юм! – выпячивает накрашенные губки. Ни старушка, ни Синди вообразить себе не могут существование друг друга. Могла ли Синди присесть пописать в людном месте возле метро, прикрывшись самой собой? Могла ли старушка вообразить биде этой фанерной «страхолюдины»? Это ж какая у нее жизнь, думает старушка, если она на такую работу – отпечивать губки – согласна? Да она бы смолоду и за сто рублей не стала этого делать.

Я покидаю ее с сожалением. Мне хотелось бы еще поторчать тут, за щитом. Но я уже вошла в сюжет... Грубовато, скажем, но как умею... Я вошла в сюжет – вошла в метро... Мне надо догнать ту, что мне не звонит. Она едет от Киевского вокзала, и ей сейчас очень хочется подвзоровать этот чертов мир. Поэтому она стоит у сквозной двери и матерится.

– Такая х...я! – бормочет она и оглядывается, не слышал ли кто.

Слышали... Бабулька, что сидит рядом, – о ней я уже говорила – распахнула на нее старые, уже не отсвечивающие глазки, но, встретив вполне пристойный взгляд Ольги, стушевалась и даже, видимо, решила, что неприличное слово родилось в голове у нее самой (так уже с ней бывало), бабулька даже виновато ерзула и прошептала: «Господи, прости!» Ольга же никаких прощений сроду ни у кого не просила, тем более за вырвавшееся слово. Слово это из ряда тех обиходных, которые всегда во рту и могут определять все, что угодно: еду, настроение, нового знакомого, погоду, обстановку в стране, отношение к Думе там или войне. Спятишь, пока будешь искать другое, адекватное, а это всегда между зубами, в ложбинке между пломбой и костью, живым и мертвым, где же еще ему обраться?

Я знакома с Ольгой сто лет и получила ее, так сказать, со всем ее словарным запасом жизни. В ней намешано все.

А у кого не намешано? Давно заметила: отсутствие выбора, одинаковость среды рожают в душе несчастного человека *тайный* плюрализм такой гремучей смеси, что до самовозгорания шаг. В нас во всех, пуристах и ханжах, всегда достаточно проб...ди, а наша щедрость до дури непринужденно перерастает в такую копеечность, что для описания ее требуется особый случай.

Так и Ольга. Природное целомудрие вспороли в ней без анестезии, и она его давно за доблесть не держит.

– Знаешь, это что? – сказала она мне, когда мы только-только стали принохиваться друг к другу. Между прочим, в прямом смысле слова – она возила из Польши косметику, а Пособи-тую снабжала утюгами и кипятильниками. Нас свела судьба на духах «Быть может». До фран-цузского парфюма у страны тогда не доросли ноги, а зелененький флакончик за рубль двадцать был народу по силам. Но он был редок в продаже. Так вот, еще тогда она мне сказала: – Таких правильных девочек, какой я была, жизнь выполола в первую очередь. Я баба грубая.

Ей было самое то – по нежному и красивому бутылочным стеклом.

– Меня, знаешь, как первый раз трахнули? Зашивать пришлось. А знаешь кто? Инструк-тор райкома комсомола. Я тогда в президиуме сидела, херувим такой с бантиками... Кстати, ты не объяснишь, почему херувим начинается с хера? Им и кончается, между прочим... Я инструктора не выдала, но уже по другой своей дури – идеологической. Я как бы не могла опо-рочить святое... Улавливаешь степень идиотии? Степень сдвига? Решили, что на меня напал маньяк. Его стали ловить, а я путалась в показаниях, кретинка такая.

Мне всегда была неприятна ее абсолютная откровенность. И я бы приняла за основу ею же брошенное слово «дура», но это была неправда. Ольга была умная баба, острая, быстро соображающая, точная в оценках. И одновременно она бывала идиоткой без конца и края, от Парижа до Находки, что называется.

Я терпеть не могу дураков. Это на самом деле недостаток, а никакая не доблесть, жизнь сто раз подсказывала мне, что набитый дурак – не самое большое зло на земле, что самое боль-шое зло вспухает как раз в той компании, где гнездятся, хлопая крыльями, умники. Это они заваривают кашу, они придумывают идеи, от которых по земле идет порча и корча. Дурость дураков в другом – в самозабвенном шаге вперед навстречу умнику. Людоедство, бомба, какой-нибудь иприт-люизит еще только лежат на полке дьявола, первый умник еще почесывает боро-денку, вполне, может быть, размышляя: «А не очень ли я тут замахваюсь?», но дурак уже готов, он рядом и готов взять на себя черное дело умника. Так вот, я их ненавижу, этих, кото-рые всегда и во всем готовы. Я узнаю их в лицо сразу. Я их унюхиваю. Я ощущаю их вибрации. Не дай вам Бог моего чутья! Унюхав что-то там, я прекращаю отношения, я с треском рву эту ткань связи, и что? Сама же и недосчитываюсь друзей, подруг... К чему это я? Ольга никогда – никогда! – совершая самые безумные поступки, не давала оснований думать, что она дура. Такая вот, сякая, всякая-разная, часто идиотка, злобница, но не дура. Поэтому мы не дружа дружили, и мне были интересны переливы ее какой-то смешной и все-таки глупой жизни, но я уже постигла еще одну истину. Умный человек может прожить глупую жизнь. Глупому такое, наоборот, обломиться не может.

Мы стоим в том моменте Ольгиной жизни, когда она едет в метро и произносит харак-терное для нее слово. А рядом бабулька, которая принимает это слово как свое. О это великое свойство моего народа – воображая, как бы и быть. Навоображавшись за день, до дела ли? Поставить бы вовнутрь датчик к нашим мысленным мостам, царствам, кровопролитиям, высо-ким дымящимся фаллосам и мохнатым, как звери, лонам. Ни к чему бы была другая энергия.

Старушка была моим народом. Поэтому она мысленно теснилась в узкой Ольгиной юбке и говорила неприличное слово. Одновременно кумекая, что дама слева в кожаном пальто до пола и юбочке едва-едва таких слов не может знать, откуда ей, образованной? Она, что ли, ломалась зимой на заводе по две смены в тонких голубых рейтузах, к которым попа примерзала отнюдь не фигурально, но молодой тогда бабульке они так нравились, шелковые эти штаны пятьдесят второго размера – какой был у нее, она не знала, сроду по номерам ей ничего не поку-палось. Вот с тех рейтуз у нее, бабульки, цистит, проклятушая болезнь, когда писать хочется часто-часто, и по всей ее жизни от этого одни разочарования. Вот она и сказала: «Х...я» – она, а не *эта*, в запахе счастья, эта таких слов не знает.

То же самое о бабушке думала и Ольга. Вот, мол, из нее, Ольги, жабы просто выпрыгивают, а эти божьи одуванчики, по многу раз видевшие Ленина в гробу, но не верящие в его смерть, доживают свой век в нищете и дикости, но тем не менее чисто. От старушки пахнет простым хозяйственным мылом и, как ни странно, чем-то еще и дорогим. Ольга, чтоб не заикливаться на этом, решила, что пахнет святостью, которой у нее нет. Бабушка же – это к запаху – просто-напросто ехала от ворот кондитерской фабрики, где дешево продавали шоколадный лом. Вот он и пах из ее сумки, как ему и положено, дорого. Перебитый жизнью шоколад. Даже у шоколада случаются разные судьбы.

Ольга думала свою мысль.

...Две недели назад она тоже ехала в метро, только к вокзалу, а не от него. И у нее тогда был новый чемодан с очень стильными металлическими углами. Она на эти углы просто запала, когда увидела в магазине. Представила, как понесет его носильщик, а она будет небрежно так на него *не смотреть*, ибо не на трех вокзалах это произойдет, где глаз нельзя спускать с носильщика, а лучше вообще бежать следом за ним, контролируя его постоянным касанием вещей. Она так и ехала до самой Варшавы, практически не слезая с нижней полки, где лежал чемодан, в туалет ходила ограниченное число раз и так расстроила желудок, что, не будь по дороге Варшавы, практически своего родственного города, в котором поймут твои проблемы, неизвестно, чем бы это кончилось. Ванда же дала ей какие-то таблетки, ее немножко покрутило в кишках, и все прошло. Ванда – спец по лекарствам, отправляет их в Союз, извиняюсь, в Россию, но не через Ольгу. Другой у нее канал. Ванда в курсе всей Ольгиной жизни – от и до. Она, можно сказать, с младых ногтей знала и ее маму-инвалида и дочку-акселератку. Идиллическое было время, просто другая эпоха! Дочка у Ольги всегда была хорошо одета, а у мамы в тумбочке лежали лекарства от всего. Частично Ванда просто дарила их Ольге.

Сейчас дочка, слава Богу, хорошо замужем, у зятя диковатый (продает спортсменов) бизнес с Испанией, мама умерла, царство ей небесное, умерла практически без проблем для окружающих, что есть высшая степень святости жизни, потому как... Тут и объяснять не нужно. По нынешним временам умирать надо мгновенно: раз – и ты готов, по типу действия СВЧ. Или что там у нас первое по скорости... Сейчас до фига замечательных вещей. Они должны помочь людям жить быстро, но и научить умирать на слове «раз». Мама-покойница откуда-то знала это сама, умница такая.

Но вернемся к чемодану. Ольга купила этот, с уголочками, потому что была идея (будь она проклята!), что от них, отпадных уголков, ее мир начнет строиться заново, по какой-то другой схеме. Как строит Москву Лужков? Дом-коробка, дом-коробка, а он (или кто у него там?) придумывает к коробке зеленую крышу теремком, вставляет в нее пистон-шпиль. Пришпандоривает к дому крыльцо с козырьком в пандан крыше, опять же пистон-шпиль, и глядишь – нелепый дом как бы выиграл. Теперь человеческий пример. Всю жизнь ты ходил в коричневом немарком пальто, а потом раздухариваешься и покупаешь бежевое с воротником хомутиком и с пуговицами, которые вполне могли бы работать маленькими блюдечками. И пошли вы все! Вот и Ольга, оттолкнувшись от Лужкова и чемодана, взяла и нарисовала новую схему собственной жизни. Дочь в замуже, мама в могиле, ей всего ничего – сорок восемь, она даже еще при менструации, которая приходит как часы. Разве не время новой крыши, шпиля и прочих излишеств яркого цвета?

Чемодан. Своими углами он был положен во главу угла.

Такой вот получается у меня словесный перебор, но пусть... Редактор побежит резвыми ножками, задумается своей головкой, выстроит синонимический ряд (хотела бы я на это посмотреть!), обидится на автора за недодуманность его выражений, облегчит себе нос клетчатым платком и вскрикнет: «А пусть! Пусть автор сам отвечает за скудость своего словаря!» Но тем не менее он еще долго будет примерять туда-сюда – такая уж профессия! – синонимы.

Но вернемся снова к Ольге. В момент ее времени. Время это расцвечено не только шпильками там и сям, не только перетаскиванием с места на место Поклонной горы скульптуры, посвященной горю, – она как бы не в пандан идее времени, – но и другими чудными вещами. Например, желанием стать князем там или графом. Просто так, потому что хочется! Одной милой моему сердцу даме за заслуги в науке дали такой титул, напрочь обойдя факт биографии, что батя ее, царство ему небесное, был бойцом на мясокомбинате. Я, увы, не вегетарианка, я ем братьев моих меньших. Я понимаю: раз я такая, то кто-то должен обслуживать мои хищные потребности. Должны быть для этого бойцы-убийцы. Но чтобы приставили к этому делу князя! Милая моему сердцу дама тоже смеется над фактом своего княжества. «Это ведь так, – говорит она, – понарошку». Но штуковину с гербом на стену все-таки повесила, и глядишь – через какое-то небыстрое время мои внуки будут называть ее внуков «вашеством» или кем там еще... Мне что, жалко? Что, внуки сами не разберутся? Но, помните, я как бы уже намекала... Умный только придумывает пакость... Шаг вперед всегда делает дурак.

Мы с Ольгой обсмеяли все эти новации давно и со вкусом. Наши отношения претерпели многое за время великих перемен. Польша перестала быть Клондайком спекулянтов, мир стал куда шире и соблазнительней. К примеру, выиграла Турция. Египет перестал быть картинкой с пирамидой. Ольга уже могла себе позволить не таскать тюки, но совсем не таскать тоже было нельзя: институт, где она была вечным мэнээсом, сторел синим пламенем, а хотелось и то, и се... Какие ее годы!

Однажды она призналась мне, что жалеет те два-три случая, когда можно было выйти замуж по новой. Вполне были дядьки, без хвостов из детей и родственников, с положением каким-никаким по тем еще, старым временам. Сейчас же выйти замуж немолодой женщине – дело практически безнадежное, если ты не просто ищешь штаны в квартиру. Есть такие, что именно это и ищут: чтоб мычала, бурчала, сопела другая природа. И мы с Ольгой даже решили, что камень в наших сестер мы не бросим. «У каждого свой вкус», – говорила Ольга.

Для себя она хотела другого. Первый, трагический случай юности отодвинул ее женский опыт лет на десять.

Все обязательные правила той жизни были выполнены: институт окончен, отхлопотано бесконечно недвижимое при возможных потрясениях место в НИИ, Ольга пошла, что называется, своими ножками, и проблема мужа, можно сказать, набрякла. Мама, тогда еще живая, все боялась, что ее лежащая болезнь станет камнем преткновения. Придет молодой человек в дом, а тут мама лежит, и низко спущенное одеяло как нельзя больше подсказывает глазу, что именно там, под одеялом, стоит этот самый прибор по имени «утка». Как на это может реагировать молодой претендующий человек? С отвращением. Поэтому у Ольги раньше всех оказалась однокомнатная кооперативная квартира, в которой она ни дня не жила. Папа надорвался, зарабатывая на пай, и вскоре умер. Мама целиком легла на руки Ольги, а квартира дождалась своего часа. Манька, дочь, переехала в нее сразу после десятого класса. Квартиру так захезали съемщики, что пришлось начинать с ремонта. Тут и возник тогда частник-ремонтник из новых людей, ныне удачливый продавец футболистов и боксеров. Они с Манькой договорились обо всем и сразу. Ольга, приготовившая плечи, чтоб нести дитя все дальше и выше, вдруг в одночасье стала легкой, можно сказать, невесомой.

А муж тогда еще был, да, был... Нормальный муж, под свисающее одеяло покойной тещи не заглядывал. Хорошо относился к маме, тайком от Ольги давал ей выпить рюмашечку-другую. Ольга была в этом смысле строга до отвращения. Хотя почему было не дать выпить лежащей матери, у которой радости было в жизни – смотреть на Валентину Леонтьеву и вспоминать, как однажды они встретились в магазине и Леонтьева будто бы спросила у матери Ольги, как она считает, пойдет ли ей сиреневый цвет? И будто бы мать объяснила ей, Леонтьевой, что сиреневый лучше не носить вообще, что это цвет вдов, хотя по цвету ей, Валентине, можно носить хоть серо-буро-малиновый, хоть не разбери пойми какой, потому что она сама – цвет!

Если случайная, даже не факт, что состоявшаяся, встреча наполняла жизнь матери смыслом («Я сказала ей: «Вы сами – цвет!»), то что такое две рюмашечки? Просто святое дело!

Дальше пойдет идеология. Хорошо бы о ней написать не словами, а какими-нибудь кружочками, потому что букв жалко, но куда ж без них? Разошлась Ольга с мужем, потому что в момент каких-то важных первых выборов вспомнила себя в белом воротничке и того потного гада в лакированных ботинках. В результате пошли они с мужем на разные собрания и – конец. Правда, он ей сказал: «Ну хочешь, я пойду с тобой, хочешь?» Но это уже не имело значения. Он ведь по сути своей инстинктивно выбрал то, откуда она так же инстинктивно бежала. Сработала автоматика, которая, как известно, бездуховная дура, но, поди ж ты, срабатывает безошибочно.

Сейчас «муж объелся груш» в какой-то «их организации». Нет-нет, а мелькнет совсем близко к правофланговому. А однажды мелькнул и тот, что в лакированных. Ольга тогда потеряла сознание, ненадолго, на чуть-чуть, сидя в кресле, но, когда «вернулась», ощутила такую жаркую, такую лютую ненависть, что позвонила мне.

– Слушай, – сказала, – быстро расскажи анекдот. Только не думай, сразу...

– Встречаются Сталин и Зюганов...

Она бросила трубку.

– Извини, я хотела про чукчу. Про евреев. Что, про них анекдоты кончились?

Мы поговорили на эту тему. Какие мы дуры, что не вышли за евреев и они нас не увезли подальше от этой земли. Но это был вялый разговор, без энергетики – ну не вышли, ну не увезли... Такие две уже неподъемные тетки, которым, как тому петуху, все одно: догонять ли курицу для... или чтоб просто согреться. И второе даже предпочтительнее, раз уже возникает в голове как возможный вариант. О! За тайностью мотивов очень и очень надо слеживать.

Но Ольга все-таки попробовала выйти замуж за границу, почему и чемодан возник. Это не было принципом: за границу, и только. Просто случай шел ей в руки. Черным по белому было написано, что некий немолодой и вдовый, как бы из маркизов, обеспеченный так, чтоб не брать в голову проблему мыла, свечей и керосина, жаждет любви славянки-блондинки без детей, не выше сорока пяти лет. «Только идиот будет придирается к разнице», – подумала Ольга.

Ключевое слово «маркиз» попало не просто в сердце, что там сердце! Оно здоровущее, в него попасть – раз плюнуть. Слово попало в сущность невидимую, в некое средостение молекулы, выполняющей одну из самых неблагодарных задач: молекула эта отвечала в нас за все тайные притязания. Шпили, консоли, витые лестницы, специальные вилки для рыбы, шляпы с пером, выдернутым из задницы павлина. (Боже, как им не жалко птиц!) И многие другие деликатные разности, которых я могу и не знать. Я не Ольга, и, хотя у меня самой притязаний вагон и маленькая тележка, в меня бы слово «маркиз» сроду не влетело, а в Ольгину молекулу – просто с первого попадания.

Вот почему мы коснулись этой дуромании: встрять в князя там или графя, откопать в прошлом беленькую косточку ноги, такой из себя нежной, слабой, не раздавленной весом жизни, чтоб и во тьме она тебе светила, если больше нечему.

Я сколько угодно могу изгаляться над слабостями своего народа, если бы одновременно не работал во мне процесс удовольствия постижения его тайны. И того всемирного удивления, какое мы вызываем у народов, менее изысканных по составу молекул. В один и тот же день, когда нам показали побежденные до основания Самашки – что ни говори, упоительная победа! – мы увидели и другое: французские вышивальщицы на белоснежном полотне наволочек нежной кириллицей – для нас! – иголкой выковыривали слова «Спокойной ночи!». В один и тот же день мы являли миру наше непобедимое умение спать на сырой земле и укрываться чужалом (Самашки) и жажду чего-то невообразимо красивого.

Я понимаю, что *разные* головы припадали к земле и подушке в этих двух случаях, но это были русские головы, что называется, из одной и той же школы, с одной и той же улицы.

Не однажды их постигает великое разочарование во всеобщем мироустройстве. Такое уже с народом бывало и раньше. И в этот раз замечательный с виду был строй, так радостно во все стороны дымили трубы, так справедливо делили тебе половину, а мне – вторую, но настал момент усталости человеческого металла, и котлован счастья пришлось срочно засыпать. Но куда ты денешь разочарование? Я принципиально не хочу прыгать в глубину этого трагического чувства, оно велико. И мне не вынырнуть из него. Я – про мастериц, в которых вдруг откликнулось великое пролетарское разочарование. И они стали вышивать этому народу непонятные им слова. Другие же, оборотистые, стали рисовать гербы и другие символы крепости рода, которые как бы выпрямляли разочарованного человека, давали ему новый ключ – ищи, голубчик Буратино, деревянная твоя башка, свою дверь в стене, ищи. Маленькую и железную. Может, и вскроешь.

В это же время бомбили Самашки.

Я это все к тому, что хотя клев Ольги на что-то эдакое и показался мне идиотским, но снисхождения и понимания он у меня заслуживал. Ра-зо-ча-ро-ва-ни-е. Ну все в ее жизни было, все! Маркиза – скажем! – не было.

Бабулька – ах, как она мне дорога! – уже вышла, то ли приехала к месту, то ли вышла по малой нужде цистита. Рядом никто не сел, и Ольга распласталась вольно, не вбирая тело в тугую кучку, не выстраивая ноги строго по линии красоты. Она их даже слегка расставила, ощущая радость освобождения. Обиженно треснула где-то по шву узенькая юбочка для молодой барышни, которую Ольга побеждала, как классового врага. «Выброшу к чертовой матери!» – подумала она о юбке теперь. Конечно, есть дочь, но зачем дочери знать степень поражения матери, когда дорогая фирменная вещь ей не в кайф, а ведь как радовалась, когда влезла и поняла, что три килограмма сбросить ей не стоит ничего, зато вид – уйди-вырвусь!

Дочерям информацию про себя надо выдавать дозированно. Даже не так. Выдавать надо положительную, даже с любым прибрехом. Ольга сидела возле сквозной двери. В соседнем вагоне тоже было пусто. Люди укачивались, отдаваясь движению, некоторые задремывали. Через два стекла от нее спал с открытым ртом Федор. Один из немаркизов ее жизни.

«Изо рта определенно разит», – подумала она. Но что поделать с этим русским национальным чувством – торкнулась в расслабленном теле жалость – не жалость, сочувствие – не сочувствие, одним словом, *нечто-нечтоное*. Неопознанный летающий вирус внедрился в Ольгу и пошел делиться, как полоумный, без оглядки по сторонам. От этих простейших, не видимых простым глазом, – вся наша погибель. Если не сейчас, то потом.

Федор

...Первое воспоминание жизни – воспоминание мальчика, который писает ей на ноги. Потрясение от совершенного в отличие от ее приспособления, делающего это дело, оглушительный гнев, что у нее не так, ор, рев, мальчика уносят, ее уносят тоже и грубо бросают на спину, чтоб стянуть мокрые чулочки. Потом ничего-ничего и снова мальчик, который ездит на велосипеде туда-сюда по коридору. У нее нет велосипеда, и она снова кричит, и получается, что Федор вошел в ее жизнь чувством завистливого гнева. Но это сейчас так можно сформулировать. Взрослый ум обращается с фактами вольно, он их тасует, он от них освобождается, он их подменяет, одним словом, полагаясь на ум, ты полагаешься на вещь не безусловно точную – ум химичит будь здоров. А тогда, в детстве, ничего подобного быть не могло. Слезы непринужденно переходили в смех, зависть – в подельчивость, они прожили с Федькой долгую счастливую коридорную жизнь, сейчас вспоминаешь – одна радость. Хорошее надо держать в

резервации, и холить его, и нежить. Высаживать хорошее в грунт жизни – дело глупое и бесполезное. Хорошее до ничего растворяется в жизненной массе, оно не дает чистых побегов, оно забывает себя, оно доверчиво притуливается к чему ни попадя, глядишь – у него уже и лицо не то, и походка, и пахнет оно дерьмом, а с таких начиналось фиалок!

Через много лет, встретившись после детства с Федором, Ольга с порога кинулась понимать и любить его, как тогда, раньше... И чем кончилось?

Но по ступенькам...

У Федора была мама, которая осталась в памяти съемным сиденьем для унитаза, зажатым под мышкой. Мама выхаживала по коридору туда-сюда, такая опрятная, подтянутая дама. «Ей бы веер из перьев в руки, а не этот деревянный круг», – думала уже впоследствии Ольга, когда прошлое стало распадаться на отдельные части, и эти части несли в себе нечто противоположное друг другу, тогда как не в распадке оно, прошлое, являло собой вполне цельное целое.

Мама Федора звала сына Тедди, сама называлась Луизой Францевной, тем, что была из немков, гордилась, а это было время, когда от войны мы отъехали совсем недалеко и народ еще люто ненавидел фрицев и не признавал за немцем права быть гордым, поэтому можно себе представить общий коммунальный настрой. Но все обходилось! Вот в чем главный результат – все обходилось без тяжелых для квартиры последствий. И гордая немка, и во всем виноватые евреи, и лишенные всяких национальных амбиций великороссы, и примкнувшие к ним со своей украинской спесью хохлы, и имеющие задний ум татары, и пылкий осетин-чечеточник – все они в страстях в последнюю минуту разбивали в сердцах лампочку Ильича на кухне, опрокидывали со стены велосипед, сдергивали с веревки белье ближнего врага данной минуты, а потом замирялись, сплачиваясь на объединяющей всех нелюбви к врагам дальним – американцам там или безродным космополитам. К евреям, само собой. Ольге приятно было думать, что ее коммуналка не сдала никого. Что Михал Ваныч Тришин, исполняя в их братстве определенные обязанности, ограничивался строгими беседами в неработающей ванной, приспособленной жильцами для склада вышедших на пенсию вещей. Ваныч включал свет в уборной, и под сенью желто светящегося окошка – в бывшей ванной сроду не было лампочки – Михал Ваныч вел свой сущностный разговор, а мог ведь и не вести, но он предпочитал жечь электричество, чем «жечь человека»...

Все это давало основание Ольге уже в другие времена защищать свой народ от излишних поклепов. Не будь достаточного количества Ванычей, кричала она, интуитивно переходя к философским категориям необходимого и достаточного, народа не было бы вообще. Но он есть, следовательно... «Не каждый второй сволочь, и даже не каждый третий там или пятый... Нас в квартире было двадцать семь человек, и все выжили». Тут Ольга лукавила, ибо вела только послевоенный счет – до войны в коммуналке жило сорок два человека. Но вправе ли мы судить то, чего не видели, вернее, не так... Если мы не судим то, чего не видели, наша совесть вполне может не исторгать крика. Ее там не было.

Все это к тому, что Луиза Францевна существовала в квартире защищенно, хотя любима не была. А вот Тедди был обожаем, ему за красоту и детскую лукавость прощалось практически все. И самым большим горем детства Ольги было получение их семьей отдельной квартиры. Мама тогда уже начала болеть, у нее было какое-то редкое заболевание, при котором в организме постепенно умирает все. Такой была медицинская справка! Папе одному из первых на заводе дали на основании ее отдельную квартиру. Ольга цеплялась за дверной косяк и кричала благим матом, не желая покидать старую комнату, и народ смотрел на нее как на ненормальную. Поглощенные естественным чувством зависти к такому счастью, как отдельная и практически недостижимая квартира, люди были даже раздражены криком девочки, и кто-то сказал: «Ишь какая растет артистка!», имея в виду, что Ольга нарочно закатила концерт прощания, а на самом-то деле тоже внутри себя рада, но придуруется, «дает гастроль».

– Подари Олечке что-нибудь на память, – сказала Луиза Францевна сыну. Сиденье от унитаза уютно сидело у нее под мышкой, как ему и полагалось, и вообще все люди были, как всегда, замечательно привычными, только вот в семье Оли случилось горе отличия. Мама в летнюю пору стояла в зимнем пальто, спинки кровати были связаны рванными детскими чулочками, в выварке лежала завернутая в мамину юбку хрустальная люстра. Единственный дорогой предмет – так говорила мама.

Пришел лучезарный Тедди и вручил Оле безухого слона.

– На всю жизнь, – сказал он ей.

Она его выкинула через десять лет после встречи на городской комсомольской конференции. Тот день пометил всю ее жизнь цветом боли и ненависти. Слон радости в ней уже не помещался.

Надо же! Это был первый год без папы. Она потом думала: случайно или нет произошло так, что уход папы, любимого, драгоценного мужчины в доме, означенное окончательное отсутствие порядочных мужиков. И вообще, и в ее жизни. Папа как бы вывел за собой всю приличную рать, но тогда что за жестокость с его стороны? Или она сама, рать, – хорошие дядьки кинулись сломя голову в возникшую с уходом папы брешь, ушли за заводилой. Но это более поздние Ольгины мысли. Тогда была просто постоянная печаль. Острота горя прошла, как ни странно, довольно быстро, а вот печаль с утра до вечера растянулась, считай, на всю жизнь.

Значит, комсомольская конференция. Это уже потом, потом... У мамы тогда был хороший период, и она сама пошла в булочную и галантерею. Галантерея была на втором этаже, и мама стеснялась медленно карабкаться по ступенькам, вцепившись в поручень. Но так хотелось добрести до парфюмерии и попялиться на разные разности, вот тогда она и высмотрела в соседнем отсеке кружевце, тонюсенькое, белюсенькое и с загибом кончиков. Мама купила его для Ольгиной формы, под шейку и на рукава. И именно на конференцию эту красоту пришила. Оля понравилась себе, что-то было в ней, что-то было в кружавчиках, во всяком случае, в груди ее возник радостный холодок впервые после смерти папы.

В фойе дворца, куда они все собрались, ее дернул за рукав здоровенный парень, она отпрянула, потому что не признавала этой манеры дергать себя чужими руками, а парень возьми и скажи:

– Если ты не Олька, то тогда извини.

Станный подход. Она – Олька, и именно она это извинить не может, но ее остановили его слова, что-то давнее и хорошее настигло и сказало: «Сообрази своей головой, дура». И голова сообразила.

– Тедди! – закричала она тоненько.

– Замолкни, – засмеялся Тедди, – я Федя, Феденька, Федюнчик.

Они ходили по фойе едва не в обнимку, вернее, совсем в обнимку, иначе с чего бы это вожатой ее школы не зашипеть ей в ухо:

– Ты думаешь, как себя ведешь?

А как она себя вела?

Но оказалось все не так просто, как кажется. Потому как в обнимку с Федей ее увидел и инструктор райкома Юрий Петрович, и у него возникли, можно сказать, законные основания пригласить ее после говорящей части конференции в штаб и защелкнуть за собой дверь.

– Ходит такая цыпочка-давалочка, и мимо меня, – говорил он, закидывая ей подол на голову. Он легко закинулся, подол, мама гордилась кроем юбки Ольгиной формы-двенадцатиклинки, уже и забыли, что это такое, а мама хранила выкройку еще из довойны. Трухлявая такая выкройка, сто раз подклеенная, но маме очень дорогая. Знала бы ты, мамочка...

Пока она давилась собственной юбкой, стесняясь не то что крикнуть, а просто подать пособачьи голос, пока Юрий Петрович царапал ей кожу плохо остриженными ногтями. Вместо того чтобы двинуть его коленкой, Ольга тупо размышляла о том, что это правда: быть можно

дельным человеком и думать о красе ногтей. И еще ее посетили другие странные мысли – нет ли у нее дурного запаха, в общем, ее рвали, терзали, а она кусала кружавчики и думала черт знает о чем, отчего потом и была десять лет в ступоре, так как считала: она тогда не сопротивлялась, значит, как бы дала согласие. Разрешила. Правда, медицинское обследование обнаружило совсем другое: при согласии не бывает множественных травм, вплоть до прикушенного до крови языка, к которому прилипли белые нитки кружева.

Но об этом как-нибудь потом... Мы ведь сейчас о Федоре. Его тогда вызывали в милицию, так как именно на него показала вожатая. Вечером к ним в дом влетела Луиза Францевна, а они с мамой были как замороженные. Ольга не могла сразу, как теперь говорят, врубиться в Луизу Францевну, кто она и зачем, а когда поняла, спросила: «А где ваш... этот... стульчак?»

Тут уже все пошло до самых небес! И пока Луиза Францевна орала на маму – разве можно было сообразить такое, если выдвинуть из прошлого старый ее образ, – в Ольге проклюнулась и стала расцветать «лилия подлости». Почему лилия? Но Ольге думалось так: во мне расцветает «лилия подлости». Просто в какой-то миг крика Францевны и стекленения глаз мамы Ольга решила: «А пусть это будет Тедди! Пусть будет он!» Так радостно было уничтожить кого-то, зацарапать уже своими ногтями, натянуть что-нибудь на чужую голову, пусть сволочь давится, пусть! А потом пустить голым на мороз...

Но тут Луиза Францевна выкричалась и опала. Из нее, опавшей, стали выходить другие слова, Ольга даже сразу не сообразила, что гордая немка, в сущности, *допускает*, что это мог быть Тедя-Федя, что она готова нести возмещение ущерба, просто им – Ольге и маме – надо помнить, что она женщина бедная. Мама совсем перестала соображать, а Ольга вдруг увидела, что у нее засохла к чертовой матери «лилия подлости», что ей уже жалко этого ни в чем не виноватого Федьку, которого эта дура без стульчака готова женить на Ольге, «раз уж так случилось»... Это третье превращение Луизы Францевны в возможную свекровь Ольга пропустила, потому что наблюдала за «лилией подлости», за ее усыханием, а когда увидела, как мама Федьки тянет ручонки к ее маме с криком «Не погубите!», окончательно пришла в себя и сказала четко, что ей это все надоело до чертиков, что Федька тут ни при чем, что она не отвечает за милицию – кого та вызывает, а кого нет, – Федьке привет, и идите вы своей дорогой к такой-то матери.

Луизе Францевне, сыгравшей во всем этом спектакле целых три характера, было трудно выйти из образов, и она еще какое-то время впадала то в один, то в другой. Ушла же она в полубоморочном состоянии, все-таки силы были потрачены немалые, но так как собственная Олина мама была тоже в этом же состоянии, то выбирать не приходилось: Ольга Луизу Францевну утешать и отпаивать не стала.

Милиция насильника так и не нашла, хотя долго ходила с сосредоточенной мордой. То время еще делало вид, что у него системы фурычат и насильники ловятся.

Однажды Федор встретил ее возле школы.

– Ты живая? – спросил он.

Никогда в жизни, никогда не было у нее такого острого желания кинуться на мужскую грудь и пусть даже разбиться. Но так близко была школа и так возможна была у окна страж-вожатая, что Ольга сделала все наоборот.

– А пошел ты... – процедила она сквозь зубы. И почему-то добавила: – Немецкая твоя морда...

Эту историю Ольга рассказывала довольно часто, и будь она постарше, мысль о раннем склерозе не была бы неуместной. А уж о каком-то особом свойстве памяти – тем более. Причуд ведь на свете куча мала. У меня есть приятель, у которого тоже «заедает память».

Рассказываю по случаю, потому что «немецкая морда» Ольги временами меня доставала.

Так вот приятель. Приходит, садится, бурно радуется встрече. Ждет вопросов о себе. Это в конце концов неизбежно: ведь он для того пришел, чтоб рассказать о себе. Политика там, Пушкин или эмиссия денег иссякают мгновенно. Пушкин – потому, что сколько же можно? Товары, цены и русский демократизм – по причине их низкости для нашей встречи.

– Ну как твои дела? – обреченно спрашиваю я.

– Был у главного... Спрашиваю... Когда будете платить? Тот стоит, смотрит в окно. «Последняя туча рассеянной бури... – говорит. А потом: – Зарплата? Но ты же голосовал за Ельцина? За этот порядок? Иди, он подаст...»

Приятель громко смеется, и изо рта его летят крошки и брызги, я отслеживаю их полет, чтобы потом пройти по ним тряпкой.

– ...Последняя туча рассеянной бури? Зарплата? Ты же голосовал за Ельцина?

И снова обвал изо рта, в котором дрожит мощный, в рытвинах язык. Я беру тряпку.

– ...Последняя туча рассеянной бури? – радостно кричит он в третий раз, а я знаю: будет четвертый и пятый, до бесконечности... Его надо обрубить или заткнуть ему рот этой самой тряпкой, но я такая в этот момент медленная, такая осевшая на дно... Ну, в общем, в конце концов я встряхиваюсь и начинаю вытирать стол.

– Как здоровье жены? – внедряюсь я в тучу, зарплату и Ельцина.

Приятель адекватен, мы непринужденно переходим к жене, как будто бы только что не крутились в воронке.

Я рассказываю этот случай как еще один признак нашей болезни – скрытого паралича, который давно в нас поселился и водит нас по кругу мыслей ли, поступков... Так и живем...

Вот и Ольга сто семнадцать раз рассказывала мне, как обозвала Федора *немецкой мордой*.

На этом все и кончилось в тот период времени, когда была еще жива ее мама, когда существовали неотъемлемой частью школы пионервожатые, многие из них были причудливыми существами, сотканными из необразованности, энтузиазма и практически обязательного гормонального дисбаланса или как там назвать это их пребывание в некоем усредненном, почти как правило, роде. Ольга тогда лет десять жила с ощущением, что умрет от одного прикосновения мужчины. «Немецкая морда» обрубила в ней женское желание припасть – или как это называется? – к другой природе.

В эти годы у мамы сильно обострилась болезнь. При отце Ольга не подозревала, что у всякой болезни большой спектр составных. Что аптека, лекарства, градусник и мокрое полотенце на голову – одуванчики болезни, за которыми след в след идут пеленки, прокладки, судна. Что все это плохо пахнет и еще хуже выветривается. При папе она этого не знала, теперь же этому надо было учиться. Тут надо сказать одну вещь. Живи Ольга нормальной, не изнасилованной жизнью, еще неизвестно, как бы у нее получилось с маминой болезнью. Ведь у очень многих не получается. Родных матушек скидывают в богадельни по причине аммиачных паров не с ощущением разрыва сердца, а с полным сознанием, что с папами жить нельзя, а значит, правильно скинуть родительницу.

Я иногда в транспорте разглядываю людей с этой точки зрения: способен ли он или она ухаживать за близким? Не за чужим, а именно за своим – очень близким?

Ах, как неутешительно выглядит картина, хотя и не без случаев попадания пальцем в небо.

...Еду в долгом трамвае. Вламывается пьяная тетка. Остановившись посередине, она внимательно смотрит на нас всех, и мы ей не нравимся.

– Сволочи! – говорит она нам. – Суки вы! Сели и едут... Ишь, с детьми... Рожают... бляди... Я щас вас всех проверю... На вшивость! Снимайте, гады, шляпы! Буду считать гниды...

Она примеряется к ближайшей женщине, та начинает орать, за ней – другие, и выясняется, что это – наш ор – и было целью пьяной бабы. Она просто заходится от восторга, видя наши рты и глаза. Она просто радостно приседает от зрелища нас. Все так поглощены собственным возмущением, что она почти незаметно выскакивает из трамвая, а мы еще долго толчем тему «пьяных стерв», из-за которых мы недосчитываем на ниве жизни Толстых и Чеховых, каждый из нас на ничтожности этой тетки становится выше, лучше. Не все ли равно, что подставить себе под ноги, чтоб взорлить? И тут в транспортном заторе, пока трамвай стоит, к нам как-то по-домашнему, как из соседней комнаты, выходит водитель, тоже простая тетка, в теплом исподнем, торчащем из-под юбки на случай сквозняков из передней двери.

– Раззявили варезки! – говорит она с какой-то странной беззлобной ненавистью. Ненависть в ней как бы изначательна. Она как числитель жизни, крупный такой числитель, не два плюс три. И делится этот числитель на некий знаменатель «х», то ли на количество народа в стране, то ли на дни в году, а может, вообще на некое число «пи», которому еще не назначили имя. В результате деления и рождается, вернее, не рождается, а выпадает в сухой осадок, экстракт злости. Чистое вещество. – Орете тут! – говорит водительница нам. – А эта пьяная из конца в конец три раза в неделю ездит к парализованной подруге убирать и убираться, потому как трезвые родственники ее бросили, а подруга осталась. Она после ее говнов обязательно напивается. Туда едет тихая, смиренная, а назад буйнит...

Отдаю себе полный отчет: я тоже не мать Тереза... Ольга же... Ольга... В свои шестнадцать она приняла на себя и боль, и аммиачные пары, и все вытекающее, и было это у нее естественно, как и должно быть у людей хороших. Но ничего подвижнического на ее лице сроду бы никто не прочел. Я видела ее фотографии тех лет. Сцепленные губы, холодные глаза и обхват себя руками. Странная жесткая поза. Уже потом Ольга сама нет-нет, а вспомнит какие-то знаки судьбы, которые были уже тогда. Знаки судьбы женщины – это знаки мужчин.казалось, ничего подобного в смысле интереса умственного или там физического и близко не было, но знаки были.

– Были, – говорила она мне. – Еще какие! Однажды иду по улице, а я ходила всегда очень быстро, без этой манеры вразвалочку, откуда у меня время! И вот иду, а под ноги мне летит мяч, детский. Я его взяла рукой, не стала пинать, рядом дорога. Взяла и оглядываюсь... И вдруг понимаю, что никого нет... Никаких детей... А я чего-то стою, жду... И проехал какой-то парень на велосипеде. И как-то снизу, под согнутый локоть на меня посмотрел. И я подумала: «Боже мой!» И все. Положила мяч возле урны и пошла, а это «Боже мой!» душу ломит, ломит... Я его лица не видела. Он же меня перегонял, просто взгляд под локоть на дуру, что стоит с детским мячом.

Скажите: в коконе трепыхалась женщина, нормальные дела. Конечно, нормальные, какие же еще? Но и ненормальные тоже.

За ней стал ухаживать пожилой человек...

Семен Евсеич

Сосед по площадке случился в результате обменов. Рядом жила колготливая женщина, стремящаяся к совершенству места жительства. Она хотела иметь «окна на церковь» и «утопать в деревьях». В конце концов она где-то «утопла», а рядом появился старый – лет около сорока – еврей с нездоровой мамой. Параллелизм обратил на себя внимание, хотя еврейская мама была еще вполне сохранный и регулярно ходила «в концерты».

Они, Семен Евсеич и Ольга, смущаясь, вешали на архитектурно объединенном балконе женские причиндалы, и он сказал, что его маме пять лет тому сделали операцию на сердце, это большой срок, и теперь «дело как бы... Вы понимаете?.. Времени чуть. У вас самой тоже тяжелый случай...». Они стряхивали с маминых рейтуз капли воды и цепляли их прищепками.

Ольгу почему-то охватил нервный озноб. «С головы до ног, – говорила она. – А косточка на мизинце почему-то встала дыбом. Это ты не поверишь... Но он, мизинец, как бы поднялся... Восстал... Когда я теперь слышу, как говорят: «Сравнил жопу с пальцем», я не смеюсь ни на миг. Так бывает. На свете бывает все!»

Семен же Евсеич на Ольгу обратил внимание по-глубокому. Его можно было понять. Из-за больной мамы в мужья он не ходил ни разу. Он был хороший еврейский сын. Одновременно он был и математик по профессии. На работе в столе у него лежала «кривая его собственной жизни». Кривая – это грубо. Лучше сказать, изобара. Можно даже сказать это с большой буквы. Как испанское имя. Так вот на ней, на этой «кривой Изобаре», мамина жизнь неумолимо кончалась, но и его жизнь, жизнь Семена Евсеича, тоже переставала плавно подниматься вверх, а как бы начинала неуправляемое скольжение вниз. Еще не рывком, не обвалом, но тем не менее. Семен Евсеич знал о роли женщины в жизни мужчины и даже о роли молодой женщины в жизни мужчины с «оппадающей Изобарой».

Ольга была шансом, который трудно переоценить. Общий балкон, практическая привязанность к дому, как и у него, и великолепная перспектива ломануть стену между квартирами. «И даже пусть они живут», – великодушно решил Семен Евсеич о болящих матерях.

Ольга дома повозилась с мизинцем, пока не положила его на место. Но с этой минуты в ее сердце стало раскручиваться отвращение к Семену Евсеичу. Странная вещь! Все достоинства соседа: стирка женских трусов, аккуратное вынесение мусора, опрятность квартиры и половика перед дверью – все легло как бы поперек сознания Ольги. И чем активнее шло ухаживание – «я купил вам говяжью печень, с вас рубль шестьдесят, но не берите в голову, отдадите потом», «я и на вас взял хлопковую вату, взяли манеру делать ее из химии, а она же близко к телу и вызывает аллергию», «я починил вам почтовый ящик, вы видели, как эти негодяи подростки покривили у вас дверцы?» и так далее, – тем сильнее Семен Евсеич захватывал жизненное пространство вокруг Ольги. Чтоб куда она ни оглянулась, а он уже был, он уже занимал там место. Это была великая и, можно сказать, беспроегрешная стратегия. В конце концов чему-чему, а искусству захвата чужого нас учили хорошо.

А однажды мама сказала Ольге, что евреи – самые лучшие мужья на свете и это, мол, известно всем.

– Ты к чему? – спросила Ольга, потому что ей и в дурном сне не могло присниться, что говяжья печенька и выправленный почтовый ящик значат больше самих себя.

– Я была в этом смысле полная дура, – говорила Ольга. – Он мне был неприятен этой своей угодливостью, но я себя корила, что плохо отношусь к хорошему. И еще... Мне всегда было стыдно за антисемитизм наших людей. Я могла за него бить морду, поэтому, если мне не нравился отдельный еврей, я делила это свое отношение на два, на четыре, на шесть, на восемь. Делила, а не множила, понимаешь? Я потом поняла, что это тоже стыдно по отношению к тем же чукчам. Но я так медленно развивалась!

Одним словом, вязь добрососедства тянулась и тянулась, больные мамы пили общие чаи, но тут стали вспухать первые случаи эмиграции. И Семен Евсеич одним из первых получил вызов откуда надо. И с ним письмо от дальних, но действительных родственников, которые обещали маме еще одну сердечную операцию и всякие другие радости медицины.

Трудно бросать завоеванное. Все-таки так много было потрачено сил и даже обстукана стена легким молоточком на предмет проверки пролегания в ней электрических проводов. Семен Евсеич надел вельветовый пиджак, редкость по тем временам, и пришел к Ольге с глобальным разговором.

– Если б ты знала, как я захотела уехать, – рассказывала она мне. – Я не слышала, что он там лопотал, я просто замерла от мысли, что можно все это послать к ебенематери и начать все, как бы заново родившись. Я и в мыслях не допускала, что можно уехать без мамы. Я, значит, замерла, а потом поняла суть. Маму он предлагал взять потом. Когда мы там пустим

корни, а пока... Ну дальше у него был вычерченный план по времени и месту. Маму примут за квартиру в хорошую богадельню с обслуживанием. Телевизор, холодильник у него были наиновейшие – все это ей в богадельню, плюс библиотека поэзии, плюс ковер три на четыре и прочая, прочая... Представляешь? А мне так хочется уехать! Так хочется! Ну просто спазм, и все тут! Даже ощущение, что уже лечу и что свободна, что как птица и что ни одна нитка ко мне из прошлого не прилипла. Миг сладкой мечты... А потом крупная реализация действительности... Вельветовый пиджак там и прочая. Знаешь, какая была вежливая? Как ангел у входа в рай... Они там ведь вежливые, как считаешь? Или праведники тоже могут надоесть до чертиков? Могут! Могут! Я представила, как они недуром прут... Которые хорошие... Все такие на постном масле, с зашитыми гениталиями, чтоб ненароком не проявились... Но я была вежлива, это точно. Я поблагодарила и сказала, что как он никогда бы не бросил свою маму, так и я учусь у него жить... В таком духе. Он сказал, что еще не вечер – а это правда был день – и он вернется к разговору. Но он не вернулся. Никогда больше...

Много позже я ей сказала:

– Не с этого ли случая ты начала торить дорогу за границу, будто бы за парфюмом, а на самом деле...

Ольга посмотрела серьезно, а потом покачала головой:

– Нет. Ни разу в Польше никакого чувства остаться там навсегда не возникало. Но это же понятно... когда торгуешь утюгами, какие могут быть мысли? Утюжки... И вообще, Польша – продолжение отечества и всего с ним связанного.

– Даже на слове «шляхтич» не западала? У меня, например, от него в душе радостный щекоток...

– Ты украинка. Какую-нибудь твою прабабку трахнул поганый лях. В тебе живет воспоминание удовольствия. А я баба русская, у меня другие манки.

Федор

То было время осенних посылов на овощные базы. В тот раз отдирали верхний гнилой капустный лист. Кочаны хряпали в руках, осклизлые, вонючие, а потом вдруг раз – делались беленькими, крепенькими, и возникало даже удовольствие, вроде ты сам рождал капусту. Правда, сплошь и рядом случалось, что чистенькие бурты, не востребованные жизнью, снова начинали чернеть, мокнуть и вонять, и тогда приходили новые люди и снова обдирали кочан, и бывало, еще что-то оставалось на кочерыжке для следующего захода. Это называлось «все-народной помощью в решении продовольственной программы».

А однажды по зелено-черной жиже прошел Федор – «немецкая морда». Он был в высоких резиновых сапогах под самое-самое то место, и это выглядело классно, несмотря, так сказать, на окружающую действительность. При небольшом усилии можно было вообразить, что носитель высоких сапог не инженер-оборонщик на поприще социалистического добывания продуктов, а некий рыбак-поморец, идущий к своему баркасу там или шлюпу, в котором серебряно выгибает спину красавица рыба для красавицы жены. Белое море, белая рыба и белое тело женщины. Петров-Водкин. Альбинос.

Сапоги остановились рядышком. Невозможно было не поднять голову на эту картину. То ли потому, что у нее случилась острая эмоциональная реакция на резиновые отвороты, которые существовали выше нее, сидящей на овощной таре типа ящика, но сразу вспомнилось то чувство, когда она остро хотела удариться о мужскую грудь... Опять же и теперь ноги Федора вызвали совсем не духовные желания. Что неудивительно. Ведь в сапогах шел не любимый писатель Ольги Юрий Трифонов, которого она только что переплела, вырвав из «Нового мира». Шел бы Трифонов – у нее случилось бы смятение в голове. А шел Федор –

смятение было другого рода. Поэтому хамство как способ защиты от себя самой было уже за зубами и возбуждало язык, но нельзя же в конце концов бездарно повторять самое себя?

– Привет! – сказала она обреченно.

– Ну и слава Богу! – ответил Федор. – А то я иду и думаю, как ты меня обзовешь в этот раз.

Он вырыл из листьев еще один грязный ящик и осторожно присел на него.

– Развалится или нет? – спросил он.

– Сижу... ничего, – ответила Ольга.

Федор по-хозяйски общупал ее глазом. Скукоженная девка в «базной одежде». Так он должен был подумать, так он и подумал, а Ольга, как она потом сказала, «проинтуичила его впечатление».

– Ох, как я разозлилась! – говорила она. – Он был одет классно, а я черт-те в чем. В маминых, считай, военных обносках. А у нас бабы специально для базы купили в детском мире яркие ветровочки из болоньи. Там же мужиков было навалом, а главное – из очень приличных институтов. Там были интеллигентские сливки... Но у меня даже на детский товар тогда лишних денег не было.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.